

**В**

конце прошлого века — в разгар перестройки — среди журналистов был популярен вот такой анекдот:

«В Варшаве все еще вполне советский турист заходит в кафе и просит официанта принести ему кофе, булочку и коммунистическую газету. Тот приносит ему кофе и булочку. Далее следует диалог:

— Я просил кофе, булочку и коммунистическую газету!

— У нас нет коммунистической газеты!

Журналист пьет кофе, ест булочку и снова подзывает официанта.

— Я просил кофе, булочку и коммунистическую газету!

— Господин! Сколько раз вам можно повторять? У нас нет коммунистической газеты!

— Повторяйте, повторяйте, повторяйте, пожалуйста!».

Все смеялись, а мне было не до смеха. Дело в том, что к этому времени моя журналистская карьера достигла уже приличного уровня: я стал ответственным секретарем областной газеты «Коммуна» — органа Воронежского обкома КПСС и облисполкома. Перестроечные ветры и бури всюю уже бушевали, а с исчезновением «коммунистической газеты» угроза остаться без работы была вполне реальной. Редактором тогда был Владимир Яковлевич Евтушенко — че-

ловек порядочный, не гневливый и вдобавок ко всему не лишенный литературного дарования. Еще он был заядлым шахматистом и нюхал табак. «Зачем курить табак — его должны мы нюхать?!» — эту фонвизинскую фразу шеф часто повторял своим курящим подчиненным. Обстановка была нервная и неопределенная. Впрочем, с «Коммуной» все обошлось: эта газета выходит до сих пор. Правда, мизерным тиражом и с едва заметным коммунистическим душком. Евтушенко ушел на пенсию, а я стал редактором первой некоммунистической газеты «Воронежский курьер».

Покойный Владимир Евтушенко, собственно, и был моим крестным журналистским отцом, взяв на работу студента-пятикурсника исторического факультета Воронежского государственного университета. Признаюсь, студентом я был, как ныне принято выражаться, проблемным. История как таковая меня интересовала мало. Круг моих интересов определился сам собой — студенческая самодеятельность и всякая иная общественно-культурная деятельность. Плюс сотрудничество с газетой «Коммуна», где я уже с четвертого курса довольно часто публиковал заметки и даже рецензии на спектакли воронежских театров. Наверное, в каждом вузе на каждом факультете есть такой студент, который вроде бы и учится — и в то же время может в любой момент вы-

лететь за систематические пропуски и хромосомные хвосты по разным дисциплинам. Вот в таком режиме я и получал свое высшее образование. И если бы не благосклонное ко мне отношение секретаря декана Августины Яковлевны, я бы, конечно, не «дополз» до 5 курса. И уже перед самой последней зимней сессией Августина Яковлевна по большому секрету сообщила мне, что пришли точки распределения выпускников истфака и мне с моими более чем скромными баллами ничего не светит, кроме места преподавателя истории в школе при колонии малолетних преступников где-то в Сибири, на каком-то полустанке КВЖД. Мало сказать, что эта новость меня расстроила — она меня просто раздавила. После вольной и насыщенной разными приятными событиями жизни в городе с богатейшими культурными традициями тащиться на край света просвещать малолетних преступников?! Обогащать их знаниями отечественной истории, которую я и сам-то знал с пятое на десятое, в мои жизненные планы не входило решительно. Вот в таком подавленном состоянии я заявился в редакцию «Коммуны», заглянул в приемную редактора и поздоровался с еще одним секретарем — на этот раз секретарем редактора газеты Галиной Леонидовной Сазоновой. По непонятной мне причине она тоже относилась ко мне вполне благосклонно. Увидев мою расстроенную физиономию, Галина Леонидовна быстро и тактично выудила из меня подробности моей горестной ситуации, несколько минут подумала и сказала:

— Ты, Валер, не распускай сопли, и ехать тебе ни в какую колонию не надо. Это факт! А надо тебе срочно устроиться в штат нашей газеты. Сейчас как раз есть место литературного сотрудника в отделе писем. Посидишь за столом, письма трудящихся почитаешь, наберешься ума, а там видно будет. Скоро придет из обкома Владимир Яковлевич, он к тебе очень хорошо относится. Я с ним переговорю, а ты пока посиди в отделе писем у Соломахина. Идем, я тебя к нему отведу — он, я уверена, не будет против.

Соломахин был тогда заведующим отделом писем — самым беспокойным и скандальным местом в редакции. Из положенных двух литсотрудников в наличии был только один, да и тот сильно пьющий, а желаю-

щих занять вторую ставку с окладом 85 рублей все не находилось. Так что он даже обрадовался моему появлению и тут же стал посвящать меня в тонкости работы с письмами трудящихся. Через полчаса в отдел заглянула Галина Леонидовна и повела меня обратно в приемную редактора, по пути сообщив, что все в порядке, шеф в отличном настроении, в курсе моих дел и ждет меня для собеседования.

— Ты особо-то язык не распускай, кивай головой и поддакивай, — шепнула она мне, запуская в кабинет.

Владимир Яковлевич как раз вынохивал очередную понюшку своего особого табака, что являлось верным признаком его хорошего настроения. Содержание беседы я совершенно не запомнил. Помню лишь ее финал. Шеф вышел из-за своего монументального письменного стола и велел следовать за ним. В приемной он дал распоряжение Галине Леонидовне печатать приказ о моем назначении и повел меня обратно в отдел писем, где и передал с рук на руки Соломахину.

Так началась моя трудовая деятельность на тернистой ниве российской журналистики. В университете тоже все устроилось благополучно. В полном согласии с планом Августины Яковлевны я перестал ходить на занятия, меня благополучно отчислили с обещанием весной следующего года восстановить на заочном отделении для сдачи госэкзаменов и получения диплома о высшем образовании. Что и было исполнено. Недавно, рассматривая свой диплом, с удивлением обнаружил, что оценок «удовлетворительно» там самая малость.

Современным труженикам пера, вооруженным смартфонами, айфонами, диктофонами и прочими подсобными высокотехнологичными инструментами их деятельности, трудно себе представить, как осуществлялся выпуск любой газеты в СССР. Техническая база — телетайп, машбюро, фотолаборатория и телефоны в редакции. Линотипы, цинкография, ротационные печатные машины в типографии. Сами собой напрашиваются аналогии с эпохой бронзы, учитывая, что каждая газетная строчка отливалась с бронзовых матриц расплавленным свинцом.

Внутриредакционная жизнь была налажена отлично. Как я уже заметил, отдел пи-

сем — самый ответственный и скандальный ее участок. В мои обязанности входило чтение редакционной почты. Этим мы и занимались через день с моим пьющим коллегой. Ежедневно в редакцию поступало по 50-60 писем трудящихся, а по понедельникам их число доходило до 100-150. Видимо, в выходные дни активность наших читателей возрастала из-за большего наличия свободного времени. Чего только не было в этой самой почте! На первом месте — поэзия и проза, на втором — благодарности врачам, на третьем — жалобы на коммунальные службы, произвол начальства и прочие недостатки социалистического бытия, потом шли всякого рода изобретения — от вечно-го двигателя до космических станций. Особое удовольствие доставляло чтение стихов. До сих пор не могу забыть первые строчки поэмы, присланной молодой кондукторшей автобуса:

Люблю я свой автобус,  
И труд я свой люблю!  
Иной раз так потянут,  
Но это ничего!

Каждое письмо снабжалось специальной формулярной. Этим, слава Богу, занимались учетчики писем. Мы же должны были вникнуть в их содержание и направить каждое послание в соответствующий отдел редакции. Поэзию и прозу — в отдел культуры, благодарности — в советский отдел и так далее в зависимости от содержания. Из отделов письма с жалобами разлетались во все концы области руководителям учреждений и организаций с категорическим требованием разобраться и о принятых мерах сообщить редакции. Справедливости ради надо признать, что отлаженная работа с письмами во многих случаях была достаточно эффективной и оказывала реальную помощь замордованным очередями и бытовыми проблемами советским гражданам.

Была еще одна довольно обширная категория авторов писем, психическое состояние которых, мягко говоря, вызывало сомнения и беспокойство. Для этой категории была заведена особая папка под условным названием «Смирительная рубашка». Таких писем набиралось в месяц несколько десятков, и по фамилиям их авторов делался официальный запрос в психиатрический диспансер:



Валерий Попов

состоит ли кто-нибудь из них на учете в этом медицинском учреждении? Если да, то их послания списывались в архив, если нет, приходилось отвечать авторам, придумывая всяческие отмазки и обещания использовать идеи в нашей дальнейшей работе.

В связи с деликатным характером этих запросов была разработана особая процедура получения ответов на них. Редактор вызывал машину из обкомовского гаража, Галина Леонидовна брала необходимые документы и зачем-то печать, потом в сопровождении одного из литсотрудников отдела писем экспедиция отправлялась в психдиспансер. Благо он тогда располагался недалеко от редакции в самом конце главного городского проспекта имени Революции. Черная обкомовская волга парковалась у подъезда, Галина Леонидовна шла в приемную главного врача, выполняла там какие-то формальные действия и возвращалась с опечатанным конвертом.

Не очень было понятно, зачем нужен был сопровождающий литсотрудник. Однако, как показал его величество случай, наличие сопровождающего оказалось очень даже полезным. Дело было так. В отдел заглянула Галина Леонидовна и говорит:

— Валер, собирайся через полчаса поедем в психушку.

Я рад стараться: хоть на какое-то время отвлечься от писем трудящихся! Приезжаем. Сазонова уходит в диспансер, а мы с

постороннем. Проходит десять, пятнадцать, двадцать — тридцать минут, а она не возвращается. Водитель говорит:

— Пойди узнай, в чем там дело. А то мне шефа вашего в обком везти еще надо.

Делать нечего. Иду и я в диспансер, захожу в приемную главврача, представляюсь и спрашиваю у симпатичной девушки-секретаря:

— А где наша Галина Леонидовна?

— Ой, не знаю я. Сама ее жду. Вот пакет приготовила. Я тут правда выходила ненадолго.

— Может быть, она к главврачу зашла?

— А его сегодня нет на работе. Только зам. Он не в курсе наших дел. Пойду спрошу у него на всякий случай.

Зашла она в соседний кабинет, и через несколько минут выбегает оттуда здоровенный мужик в белом халате и скрывается за входной дверью — за ним секретарь со словами:

— Подождите минутку, тут какое-то недоразумение произошло, — тоже выбегает из приемной.

Я стою как дурак, не знаю, что делать, — а главный, со страхом думаю: что же с нашей Галиной Леонидовной приключилось?! Но вот дверь снова распаивается, и появляется весьма смущенный мужик в белом халате (как я догадываюсь, замглавного врача) — и, наконец, наша родненькая Галина Леонидовна. Но в каком виде! Прическа растрепанная, помада размазанная, плащ помятый... И вообще — зрелище ужасное! Увидев меня, она ко мне бросается, хватая за руку и кричит охрипшим голосом:

— Валера! Идем отсюда немедленно! Ноги моей здесь больше не будет!

Как выяснилось позже, события развивались следующим образом. Галина Леонидовна зашла в приемную главврача. Никого нет. Она подождала, посидела на посетительском стуле. Секретаря все нет. Несколько раздраженная, подошла к двери кабинета главврача, подергала ручку. Дверь заперта. Время идет, шеф ждет машину, чтобы ехать в обком, а тут такая задержка. Подергала соседнюю дверь замглавного врача, зашла в кабинет и стала выговаривать ему за беспорядок в работе медучреждения. Тот удивился и, вместо того чтобы спросить,

что ей, собственно, надо, спросила, кто она такая. Тут она с гордостью заявила:

— Я секретарь Евтушенко!

Это была ее роковая ошибка. Имя поэта Евгения Евтушенко гремело в эти годы по всей стране, и такое заявление насторожило психиатра. Утверждать подобное было все равно, что назваться секретарем Наполеона. Он стал успокаивать раздраженную посетительницу, она еще больше разразилась. Дело кончилось вызовом санитаров, которые уволокли впавшую в истерику бедняжку Галину Леонидовну в наблюдательную палату. Хорошо, что мы с водителем вовремя спохватились и вызволили ее из плена психиатров. В связи с этим неприятным инцидентом папку «Смирительная рубашка» решено было ликвидировать, а сомнительные письма в плане душевного состояния авторов отправлять в архив, минуя психоневрологический диспансер.

Что касается меня лично, то непрерывное чтение писем трудящихся пусть даже в таком молодом возрасте довело меня почти до нервного истощения. И как только освободилось место заместителя ответственного секретаря, то я не без помощи благодарной мне за спасение Галины Леонидовны перебрался в секретариат, где и продолжил свою кипучую журналистскую деятельность.

## ЦЕНЗУРНЫЙ КАЗУС

Современному журналисту — труженику пера, как в минувшем веке иногда называли представителей этой профессии, — трудно себе представить, каким громоздким, сложным и муторным был процесс производства газеты во времена СССР. В далекое прошлое ушли перьевые ручки, пишущие машинки, телетайпы, линотипы, цинкографии — да и шариковые ручки уже почти исчезли из обихода. Смартфоны, айфоны, планшеты, диктофоны и прочие электронные чудеса стали обыденными орудиями производства в профессии журналиста. Да и сама российская журналистика кардинально изменилась, а слово «газета», судя по всему, скоро станет полузабытым фактом истории массмедиа. Ну а пока ветеранам газетного дела некуда деться от ностальгии по прежним временам и воспоминаний о событиях эпохи развитого социализма.

Итак, я работал в газете «Коммуна» — органе Воронежского обкома КПСС. Она была основана в мае 1917 года и просуществовала сто с лишним лет. Признаюсь, что мне очень нравилось само название этого сугубо партийного издания.

Главной газетой страны в те времена была, разумеется, «Правда». Потом шли «Правды» республиканские, а за ними уже областные. Это унылое однообразие названий, декларирующих правду и только правду при глобальном отсутствии таковой, «Коммуна», как мне казалось, несколько нарушала. Я даже не поленился заглянуть в энциклопедию, из которой узнал, что слово «коммуна» происходит от французского «commune» и что это — идейная община совместно живущих людей, имеющих общие интересы, собственность, ресурсы, общую работу и доход. Два последних признака вполне соответствовали «коммуновской» действительности, а что касается собственности и ресурсов, то они целиком и полностью принадлежали КПСС — ее Центральному, республиканским, областным и (самую малость) районным комитетам. Да и доходы от издания газет шли на партийные нужды. Сказать, что журналисты «Коммуны» купались в деньгах, означало бы глубокое заблуждение. Ставка литсотрудника отдела писем, как я уже упоминал, была 85 рублей. К тому времени, когда произошла история, которую я хочу рассказать, меня назначили на должность заместителя ответственного секретаря с ежемесячным окладом аж целых 120 рублей.

Несколько слов о том, какие обязанности были у заместителей ответственного секретаря. Таковых в редакции было двое: я как бы представлял молодое поколение, а Федор Николаевич Сурин был человеком предпенсионного возраста. Работали мы через день под руководством ответственного секретаря Бориса Митрофановича Подкопаева — опытного журналиста, обладающего феноменальной памятью и взрывным темпераментом. На его небообразимых размерах письменный стол стекались статьи, очерки, репортажи, заметки, написанные журналистами всех отделов редакции. Он все это читал, правил и проводил ежедневные планерки с заведующими отделов, где формировался очередной номер. По-

том рисовал черновые макеты всех четырех газетных полос, вкладывал в них печатные оригиналы статей и передавал все это хозяйство дежурящему в этот день своему заму.

Не буду перечислять свои обязанности — их было довольно много, и все они были связаны уже не только с творческим составом, но и с производством газеты. А конкретно — с типографией: с наборным цехом, цинкографией, верстальщиками, корректорами и печатниками. Кроме того, ни один номер газеты не мог увидеть свет без подписи и соответствующего штампа сотрудника управления по охране государственных тайн в печати — дежурного цензора. У этой таинственной организации был специальный кабинет с железной дверью в здании типографии, куда наша рассыльная Надя носила готовые вычитанные и исправленные полосы.

В «Коммуне» работало два цензора — дама бальзаковского возраста, жена какого-то областного начальника, очень следящая за собой, и человек явно отставной армейской внешности лет за тридцать. Имена и фамилии этих тружеников в целях дальнейшего сохранения государственных тайн я не называю. Дама работала со сменой Сурина, а мужчина — с моей. Какие именно государственные тайны подлежали охране, нам с Суриным было неизвестно, да и само слово «тайна» в контексте содержания областной партийной газеты выглядело как-то не серьезно.

Скажу сразу, что с цензором больше повезло Сурину. Дама читала полосы быстро и больше внимания уделяла молодым, физически крепким ребятам из печатного цеха, чем государственным тайнам. А ее сменщик читал медленно, вдумчиво, листая пухленькую брошюру, в которой, по всей видимости, все эти тайны были перечислены. Мало того! Он постоянно стремился найти в статьях и невинных заметках повод охранить какую-нибудь тайну, что крайне раздражало и дежурных редакторов, и выпускающих, и корректоров, и верстальщиков. Часто случалось, что из-за какого-то пустяка приходилось переверстывать газетную полосу. А это приводило к нарушениям графика выпуска газеты и штрафным санкциям со стороны типографии.

Поводы были самые неожиданные — но, видимо, с точки зрения охраны государ-

ственных тайн крайне важны. К примеру, в репортаже из военного училища называлась фамилия командира и его звание — полковник Сидоров. Фамилия и должность претензий у цензора не вызывали, а вот звание, оказывается, было той самой тайной, которую следовало охранять. И надо сказать, цензор моей смены делал это прямо-таки с наслаждением. В результате его бдительности и старания показать всем этим журналистам, как важно охранять тайны государства, надо было удалять несколько строк в тексте, переверстывать полосу, снова читать этот репортаж корректорам, дежурному редактору и нарушать график. А если вдруг шел материал с Новоронежской атомной станции, то на нем живого места не оставалось от пометок и вычеркиваний. И никакие доводы и объяснения авторов ничего изменить не могли. Все споры заканчивались железной фразой: «Я этот номер в свет не подпишу!»

Так вот мы жили и работали в постоянном страхе ненароком обнародовать какую-нибудь государственную тайну. Но вот в один прекрасный день, а именно накануне всенародного праздника 8-го Марта, вся редакция увлеченно работала над праздничным номером, посвященным прекрасным женщинам-труженицам. Наш фотокорреспондент Михаил Кузьмич Евстратов и литературный сотрудник отдела информации Эмма Моисеевна Носырева для первой полосы подготовили замечательный блок, посетив станкостроительный завод. Кузьмич, как мы все звали нашего фотокора, сделал прекрасный снимок девушки Натальи Чугуновой. Она обладала редкой для женского пола профессией револьверщицы — идеальная героиня для тех времен на первую полосу праздничного выпуска. Эммочка написала проникновенно-задушевный текст. Наш редактор Владимир Яковлевич Евтушенко посмотрел и прочитал все материалы, похвалил Кузьмича за фото, а Эммочку за текст и отбыл в обком партии, пообещав вернуться вечером ближе к подписанию номера.

Как всегда перед праздниками, все газетные службы работали четко и слаженно, никаких проблем не возникало. Тишина и спокойствие царили почти во всей редакции, кроме фотолaborатории, где Кузьмич и еще несколько журналистов авансом уже

отметчали предстоящий праздник. Ближе к 10 вечера предстал из обкома редактор. Ему принесли вычитанные и выправленные полосы. Такой же комплект отнесли и нашему персональному цензору. Дежурные редактор и литсотрудник уже собирались идти домой, и тут прибежавшая из цеха рассылная сообщила, что цензор требует срочно зайти к нему. «Ну, началось!» — раздраженно подумал я и отправился к охранителю государственных тайн, по дороге лихорадочно прикидывая, к чему он мог прицепиться на этот раз. Не найдя в памяти ни малейшего повода для нарушений, смело распахнул дверь кабинета и уже с порога увидел, что товарищ цензор плотоядно рассматривает фотографию симпатичной револьверщицы Натальи Чугуновой. Радостно улыбаясь, он сообщил мне, что весь блок со станкостроительного завода — а это почти половина первой полосы! — надо снять и заменить его другими материалами. Меня прямо аж затрясло.

Делать заново первую полосу — это значит задержать выпуск в лучшем случае часа на два. «А в чем, собственно, дело?!» — довольно напористо спросил я его. В ответ он мне заявил, что не обязан разъяснять причины снятия этого конкретного материала и может лишь сказать, что в прессе категорически запрещено упоминать о производстве оружия. «Какого оружия? Где вы тут нашли оружие?!» — почти закричал я охрипшим от изумления голосом. «Вы тут не кричите! У вас героиня очерка — револьверщица, а значит, она делает револьверы, которые являются огнестрельным оружием», — победоносно улыбаясь, ответил мне охранитель государственных тайн. «Какое огнестрельное оружие?! На станкозаводе делают станки для обработки металла. А токарь-револьверщик делает детали для них на токарно-револьверных станках, название которых происходит от английского глагола *revolve* — “вращать”, и никакого огнестрельного оружия он не производит», — попытался я вразумить собеседника своей образованностью, но добился прямо противоположного результата. «Вы тут мне лекции не читайте! Револьвер есть револьвер, а газету с огнестрельным оружием я не подпишу», — сурово заявил он и красным карандашом крест-накрест перечеркнул всю

нашу первую полосу. Осознав всю глубину необразованности моего собеседника, я схватил испорченную полосу и бегом припустил в редакцию.

На мое счастье, ни дежурный редактор, ни наш любимый шеф Евтушенко еще не ушли и беседовали о чем-то в его кабинете. Увидев меня с перекошенным от злости лицом, размахивающим газетной полосой, оба они испуганно замолчали. «Валер, ты че? Пожар, что ли, в цехе?» — беспокоенно спросил меня редактор. А когда я в деталях пересказал свою беседу с цензором и предъявил перечеркнутую газетную полосу, оба они долго смеялись, прерывая смех восклицаниями, содержащими ненормативную лексику. «Вам смешно, а что же все-таки делать с праздничным номером?» — все еще беспокоенно спросил я. «Не переживай ты так! Подпишет твой придурок газету как миленький», — сказал шеф и стал набирать какой-то номер по «вертушке» — телефону правительственной связи. Я деликатно покинул начальственный кабинет и присел на кресло в приемной. Кому и что говорил Евтушенко по телефону, я не знаю, но буквально через десять минут прибежала рассыльная Надя с нашей первой полосой, на которой красовался штамп со словами «В печать и в свет разрешаю» — и подписал. Остается добавить, что этот предпраздничный казус имел для меня весьма важные и положительные результаты. В следующее мое дежурство за знакомым столом сидел уже другой человек — милый седенький интеллигентный старичок, и никаких больше проблем с охраной государственных тайн в печати у меня не возникало. Но еще долгое время, услышав слово цензор, я тут же вспоминал про государственную тайну, огнестрельное оружие и револьверщицу Наташу Чугунову.

## ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Челноков тогда еще не было. Но они шевелились в утробе матери-родины, застрявшей в нелепом состоянии между «уже» и «еще»: в магазинах уже ничего не было, а мелкое предпринимательство еще не народилось. В это трудное для страны время начальство решило вдруг поощрить меня путевкой на якобы морской супер-лайнер

«Шота Руставели», совершавший круизы по Средиземному морю. Дело было в середине ноября, и перспектива уплыть на две недели из российской слякоти в ласковые и солнечные левантийские просторы показалась мне необыкновенно привлекательной. Тем более что путевка эта давала право на покупку в банке семидесяти долларов США по цене 84 копейки за штуку — целое состояние по тогдашним временам. Был молод, горяч и, чего греха таить, глуповат несколько. И потому, резво собрав чемоданчик и добыв купейный билет в какой-то прицепной вагон до Одессы, отправился в путешествие.

Поездка по железной дороге запомнилась очередями в туалет, ибо вагон переприцепляли практически на всех узловых станциях, и это заведение было почти всегда закрыто, а бегать по путям по малой и большой нужде — страшновато. Необыкновенно сварливые очереди, собиравшиеся у заветных дверей, не смогли, однако, существенно поколебать предотпускной эйфории, и я почти в хорошем настроении прибыл в морской порт Одессы аккурат к отплытию лайнера. Здесь меня снабдили пачечками разноцветных бумажек, оказавшимися впоследствии корабельными деньгами. Тот факт, что за них пришлось заплатить какие-то несусветные тысячи обыкновенных рублей, в сознании особо не задержался: огромная толпа сограждан-спутников проделала то же самое с большим энтузиазмом.

Каюта оказалась четырехместной, без иллюминатора, и мои, судя по всему, более расторопные соседи до отказа заполнили ее какими-то узлами, баулами и коробками. Поудивлявшись про себя такому обилию багажа, я влез на свою верхнюю кровать и, безмерно радуясь наличию в каюте отдельного туалета, стал читать детектив. Но вот лайнер задрожал, все вокруг заскрипело, а коробки и баулы сами собой задвигались в узком проходе. Стало ясно, что путешествие началось. На этом временном отрезке я и заснул. Снились мне почему-то неряшливые растрепанные пальмы, скрипящий желтый песок и бесконечные вереницы однопорбых верблюдов, именуемых дромадерами. О том, что наступило утро следующего дня, я узнал от моих соседей, которые внизу горячо обсуждали какие-то сложные проблемы, связанные вроде бы с географиче-

ей. Во всяком случае, названия городов Стамбул, Пирей и Неаполь повторялись довольно часто. Но слова «водка», «командирские часы», «сигареты», «зелень» и «на хрен, на хрен пароход», скажу честно, озадачивали. Особенно последние.

Приглашение на завтрак, естественно, отвлекло меня от загадочного парохода, на который в такой нецензурной форме кто-то кого-то посылал. По пути в ресторан я попытался выйти на одну из прогулочных палуб. Соленые брызги, довольно приличной высоты волны и низкое свинцовое небо, щедро роняющее на лайнер холодные капли дождя, прояснили, наконец, щедрость и заботу начальства — в такую погоду... ну и далее по тексту. С солнечными и ясными просторами Леванта все стало ясно. Болтаться две недели в море, где шторм в 5 баллов сменяется штормом в 8 баллов, а хваленое солнце над Средиземным морем лишь угадывается в пелене облаков — удовольствие весьма сомнительное. Несколько утешали обещанные остановки в Пирее (это практически Афины), Неаполе (это практически у подножия Везувия) и Стамбуле (это практически Византия — колыбель нашего православия). Почему-то именно в таком порядке.

Нецензурные слова про пароход заставили меня более внимательно присмотреться к моим явно озабоченным соседям по каюте. Набралшись смелости, я попросил разъяснений насчет неформальной лексики. «А что ты везешь?» — спросил меня невольно самый старший из них, слесарь из Москвы Василий Петрович. «В каком смысле?» — ответил я вопросом на вопрос. «Хорошо придураться! У тебя такой маленький чемоданчик, что и дураку ясно: везешь часы. Значит, до Неаполя свободен. А у нас водка и сигареты. Нам в Пирее торговать придется», — это мне розовощекий Гриша из Киева сказал...

Как хорошо, что я решился затеять этот разговор! Выяснилось, что весь «Шота Руставели» от самой нижней до самой верхней палубы забит торговым людом. И что удивительно: все везли что-то продавать из родной страны, в которой уже практически ничего не было. Это, собственно, и были те люди, которые впоследствии стали профессиональными челноками и которые по сей день олицетворяют в России понятие «малое

предприимчивство». Самым серьезным препятствием на пути моих соседей, предприимчивых и достойных людей, оказалась служащая греческой таможни в порту Пирей по кличке «На хрен, на хрен — пароход». Столь оригинальное прозвище она получила за свою свирепость при исполнении служебного долга. Туристов из России эта дама обносила с особой тщательностью и, обнаружив неположные вложения на теле нарушителя таможенного законодательства, бодро махала ручкой в сторону лайнера, приговаривая при этом: «На хрен, на хрен — пароход!» Но до конфискации почему-то дело не доводило.

Круиз между тем продолжался в сплошной пелене туманов и дождей. Разноцветные бумажки, то бишь корабельные деньги, благополучно осели в палубных барах, и делать стало совершенно нечего. Первой остановкой по плану был Пирей, в который мы и прибыли почти по расписанию. Более того! Погода здесь оказалась вполне сносной, и я уже предвкушал массу удовольствий от экскурсий и поездок в Афины. Но судьба внесла свои коррективы в мои разнообразные планы, и один из трех дней, отпущенных на Грецию, мне пришлось принести в жертву малому предприимчивству. Вот как это произошло.

Пока проржавевший «Шота Руставели» вздыхал и стонал, отдыхая у причала, торговые туристы всеми правдами и неправдами пытались вынести за пределы порта свои нехитрые товары — водку, сигареты, ширпотреб — и тут же на импровизированном рынке сбить их в обмен на доллары. Надо сказать, что греки охотно посещали эту портовую толкучку, и все были довольны. Кроме, разумеется, греческой таможни. На беду моих соседей по каюте все эти дни на пропускном пункте верховодила вышеупомянутая дама, и ее замечательная коронная фраза звучала особенно часто. Так что условий для взаимовыгодной торговли никаких не было. Несколько неудачных попыток вынести за пределы порта кое-что по мелочи окончились неудачей, и ребята тосковали на прогулочной палубе, на чем свет ругая не в меру старательную таможенницу.

Поскольку я не был обременен товарной массой, образовавшееся свободное время решил употребить на осмотр знаменитого



порта. Для чего отправился на пропускной пункт. Здесь впервые и увидел виновницу бед российских предпринимателей. Сказать, что она была не симпатичной, было бы неправдой. Не Афродита, конечно, но в ней явно ощущались энергия, напор и обаяние. Чувствовалось, что человек получает удовольствие от своей работы и стремится сделать ее хорошо. Так оно, в сущности, и было. В результате — небольшая толпа туристов переминалась на причале, не решаясь пересечь невидимую границу, лишь хмуро поглядывая в ее сторону. Беззаботно протянув паспорт и охотно предоставив свое худое тело для мануальных действий таможенницы, я благополучно прошел досмотр и зачем-то произнес единственную фразу, которую знал по-английски: «Бьютифул леди!» Вот этого говорить было не надо, ибо тут же я был отмечен благосклонным вниманием Васелики — так по жизни именовалась дама, получившая за свою добросовестность столь неприличное прозвище. Она прямо-таки расцвела и, поставив на свое место молоденького сменщика, затеяла со мной приватный разговор на вполне сноском русском языке. Пока мы беседовали о том о сем, я краем глаза уловил, что толпа наших туристов энергично устремилась на пропускной пункт — и почти все граждане без проблем пересекли границу. Последними проскочили мои соседи по каюте, а один из них, особенно настырный москвич Митя, даже подошел к нам и стал встывать в разговор. Впрочем, под пристальным взглядом Васелики, явно подозрительно взиравшей на некие выпуклости под его рубашкой, он поспешил нас покинуть. Поговорив еще минут десять, мы любезно распрощались.

Вернувшись довольно поздно на корабль, обнаружил в каюте полный комплект соседей. «Ну, как там твоя?» — спросил меня настырный Митя. «Какая такая моя?» — не сразу врубился я. «Ну эта, “на хрен, на хрен — пароход”... Гречанка твоя усатая». Признаюсь, Митино амикишонство меня несколько покорило, и назвал ему я сказал, что завтра днем она снова дежурит — и даже обещала в свой перерыв сводить меня в какой-то классный и дешевый магазин.

«Значит так! — обратился ко мне серьезный Василий Петрович. — Или ты нам завтра помогаешь, или в Неаполе ты со своими часами зависнешь! Мы тебя прикрывать не станем...» Какие часы?! Какая помощь?! Голова пошла кругом. Воображение угодливо рисовало картинку, где я стою как болван на толкучке с бутылками «Столичной» в руках и сбываю их за доллары греческим алкашам. А завтра, между прочим, — экскурсия в Афины. «Торговать водкой не стану», — категорически заявил я собранию. «Да кто тебя просит торговать, — вступил в разговор киевлянин Гриша. — С тобой только цены сбивать на рынке. Товар будешь проносить через таможню. Тебя-то твоя подружка наверняка обыскивать не будет... Соображать надо бойчее!» Скрепя сердце пришлось соглашаться, но с условием, что вечером вся компания за свой счет свозит меня в Афины на прогулку по ночному городу.

Что происходило утром в каюте — страшно вспоминать. Жуткий звук отдираемой с катушки клейкой ленты до сих пор вызывает у меня аллергическую реакцию. Бутылки «Столичной» приматывались еще к моим лодыжкам и сзади на поясницу. Пачки «Мальборо» приклеивались на руки — по пять штук на каждую. За один рейс я выносил по блоку сигарет и по пять бутылок водки. Васелика приветливо махала мне ручкой — и, минуя очередь, я груженным верблюдом тащился за угол таможни. Не зря, выходит, снились мне эти проклятые дромадеры. Всего за день я сделал двенадцать рейсов с перерывом на обед и прогулку с Васеликой по магазинам. Усталые и довольные негоцианты слово свое сдержали: наняли вечером такси и с почетом довели меня до ближайшего афинского кабачка. Здесь под заунывную музыку греческих пастухов мы все дружно упились скверным коньяком «Метакса», а обстоятельный Василий Петрович даже провозгласил тост за Васелику и ее здоровье: «Чего там! Хорошая она баба, хоть и строгая. Но против нас слабину дала. С кем не бывает...»

Ночью мне опять снились пальмы и верблюды...

